

**Критика и критиканство. Рецензия на сборник рецензий**

(Щавелёв С. П. Дань Мнемозине. Рецензии и отзывы на издания и рукописи 1990–2000-х годов по историографии отечественной истории и археологии. В двух книгах. Курск: Изд-во Курского мед. ун-та, 2013. Кн. 1 — 478 с., кн. 2 — 515 с.)

**Пестрый двухтомник.** Несколько неловко отзываться рецензией на труд, посвященный мне же, но так как посвящение сопровождается признательностью «за уроки общения идейных союзников и противников», неловкость снимается.

Двухтомный сборник рецензий (Щавелёв 2013), названный в аннотации монографией, выпущен Курским гос. мед. университетом в 2013 г. Автор — дважды доктор наук: истории и философии — С. П. Щавелёв, известный своими книгами по философии, культурной антропологии, археологической историографии и краеведению. В предисловии отмечено, что я причастен к идее этого сборника: прочтя рецензию на свои мемуары, посоветовал автору собрать свои отклики на все мемуары, которые он отрецензировал, и издать их одним сборником. Получится, полагал я, цельный и любопытный обзор. Автор последовал этому совету. Только не удержался и включил в сборник также другие свои отзывы — на самые разные книги и диссертации, а кроме того вообще свои статьи на связанные с этим (и не очень связанные) сюжеты и даже некоторые статьи других авторов. Сборник разросся до двух томов, но цельность пострадала. Как и спрос: какому читателю нужен сборник статей по истории, археологии, разным отраслям философии, культурной антропологии, краеведению, религиоведению, мемуаристике и т. д.? В основном друзьям автора и библиотекам. Каждая линия интересна, а автор умеет писать. Язык его живой, сочный и богатый. Но уж больно пестрый сборник. Правда, это искупается небольшим тиражом: 300 экземпляров.

К тому же в книге нет четкой разбивки на разделы. Можно выявить некоторые блоки статей по крупным темам, но статьи по ним есть и вне этих блоков, и вообще многое размещено в художественном беспорядке. Начат первый том сборника с некролога умершему директору типографии и начальнику редакционно-издательского раздела, с большим цветным портретом. Очень уважаемый человек, но отношения к содержанию тома не имеет. Далее идет несколько статей, интересных для археологов (рецензии на книги А. А. Иностранцева и А. А. Формозова), затем статьи, объединенные только заглавиями («Дань хазарам» и «Дань Москве»), затем небольшой блок статей о сюжетах божественных (хотя автор — атеист), далее большой блок статей на археологические темы (с. 48–221) и большой блок по краеведению Курской и смежных областей (с. 222–341). За ними следует блок статей, имеющих отношение к религиоведению (с. 358–409). Завершают том статьи по культурной антропологии с экскурсами в религиоведение и политику (с. 410–478).

Второй том гораздо труднее разбить на тематические блоки. Тут отклики на мемуары весьма беспорядочно перемежаются с воспоминаниями самого автора, а также его предков, с откликами на биографические сочинения, статьями

по этике и теории познания и всякой всячине. Включенные сюда (с. 60–132) мемуары щавелевского прадеда С. А. Федорова, одного из зачинателей текстильной промышленности России, представляют собой интереснейший документ, но в томе, посвященном в основном археологии и философии, он как-то неуместен. Он заслуживал отдельного издания и анализа. А в этом издании он тягостно посторонний.

**Солидарность и разногласия.** По целому ряду проблем я придерживаюсь тех же позиций, что и С. П. Щавелёв, и мне импонируют резкость и откровенность его суждений. Так же, как он, я последовательный атеист и, признавая исторические достижения за религиозными институциями, считаю, что они отжили свое и компромиссов между религией и наукой быть не может. Так же, как автор, я выступаю против воинствующего дилетантизма и модных сейчас сногшибательных паранаучных концепций, и мне нравится его язвительное вышучивание их конкретных представителей. Я так же, как он, отношусь к любимым публикой творцам современных мифов — Л. Н. Гумилёву, А. Т. Фоменко, В. В. Фомину, как и к проповедникам торсионных полей и живой воды. О Гумилеве: «даровитый, милый, но излишне для ученого самодовольный и плохо образованный» (I, с. 29). С моими убеждениями вполне согласна и щавелёвская оценка академика Б. А. Рыбакова. Вместе со Щавелёвым я считаю искренние и горькие размышления А. А. Формозова о нашей науке и наших ученых верными и остро необходимыми — при всех отдельных его несправедливых выпадах в адрес отдельных личностей. Разумеется, нас обоих раздражает мутный поток «фолк-истори». Мне близки часто повторяемые в книге Щавелёва филиппики против «черных археологов» — этой чумы современной археологии. Разоблачение апологета кладоискательства В. А. Бердинских сделано классно — эту книгу как-то проморгали и Формозов, давший ей послесловие, и я, не почувявший ее вредности вовремя. Я столь же заинтересован в искоренении плагиата, как и Щавелёв, — оба мы посвятили этому по несколько публикаций. Я с удовольствием читаю также его колоритные разоблачения малограмотных кандидатов и докторов, и общие свидетельства падения культуры письменной речи: инициалы после фамилии (вне списка), перечни великих ученых и заурядных провинциальных администраторов вперемежку, пошло-мещанская вежливость — замена слова «последний» словом «крайний» и т. п.

Однако далеко не во всем мы так едины с С. П. Щавелёвым. Начиная с того, что Щавелёв считает А. А. Формозова своим беспрекословным образцом и учителем, а я, поддерживая в основном Формозова, не мог принять все его требования к окружению, и его отношение к тем или иным коллегам представлялось мне несправедливым, чрезмерно обидчивым. Как мне виделось, он бывал несправедлив и ко мне. К сожалению, Щавелёв продолжает Формозова и в этом, а в частности даже превосходит свой образец.

Когда он, рассматривая мои концепции, выдвигает свои возражения, справедливы они или нет, это серьезная критика, и я могу лишь принимать или оспаривать приводимые им аргументы. Когда же он становится в позу морального судьи и углубляется в оценку моих мотивов, целей и поступков, он должен быть абсолютно убежден в своей непогрешимости, потому что лишь при этом условии критика остается критикой. Стоит лишь показать, что его нарекания суть субъективные придирки — и критика опасно приближается к критиканству.

Есть у нас и другие разногласия.

**Теория и стадо козлов.** Прежде всего, я никак не могу разделить его взгляда на теоретические исследования, в частности в археологии. В своей совместной с сыном статье «Феноменология и археология» он утверждает, что в отличие от лингвистики «археология так и не сделала решающего шага к теоретическому синтезу, осталась по своей сути чисто аналитической дисциплиной. Теоретико-методологические опусы не пользуются влиянием в профессиональной среде археологов — их наука хоть и “потеряла теоретическую невинность”, но до настоящего “романа” с современной философией у нее так и не дошло» (I, 102). Между тем ссылки у него на очень старые факты (дореволюционные и 1960-х гг.) и на собственный опыт общения, неверно воспринятый (на что ему указали коллеги — см. II, с. 456, прим. 438). В работе «Становление теоретической археологии» (Klejn 1990) я показал, что еще в 1970-е гг. возникла новая отрасль археологии — теоретическая, с регулярным потоком монографий, с периодикой, конгрессами и т. п.

Щавелёв убежден, что теоретические опусы никто не читает или читает мало кто. Можно по-разному оценивать наши теоретические работы (мои в том числе), но они печатаются регулярно, переводятся, обсуждаются, стало быть, на них есть спрос.

Затем, теоретический синтез автор понимает как «“роман” с современной философией». На мой взгляд, это ошибочное понимание. Философствование — одно, а теоретическая работа — совсем другое. Философ размышляет об общих законах бытия и мышления, а теоретик археологии строит концепции, объясняющие, как возникают древности и как их понимать. Теория, когда становится стереотипом, оборачивается методом. Некоторая помощь от философии может быть получена, но очень общая и подсобная.

Феноменологию авторы (Щавелёв и сын) толкуют двояко — в общенаучном смысле («как часть эмпирических наук, которая на основе простого наблюдения доставляет материал для теорий») и особенно в философском смысле — по философским справочникам: описание опыта познающего сознания без всяких предпосылок, стремящееся освободить познание от натуралистических установок. Главное тут — феномен сознания и возможности его «очистки» для использования в науке. Насколько я понимаю, основатель современной феноменологии Э. Гуссерль ставил перед собой цель создать из философии строгую науку о науке. Эту задачу он решал с помощью «феноменологической редукции», т. е. сводил знание к чистым явлениям (феноменам), освободив его от наслоений, привнесенных традицией, философскими интерпретациями и проч. Но этот мир феноменов тесно связан с сознанием исследователя, его направленностью и структурой. Самые же глубинные истины мы не можем доказать и подтвердить или опровергнуть, считал он. Мы в них можем только верить или не верить. Подвергнув критике объективизм позитивистов всех сортов, он пришел к выводу: надо придать верованиям, сознанию, очевидностям опыта большее значение, чем истинам науки. Тем самым был дан сигнал критике науки и разума. Что ж, это тоже связано с событиями в археологии (критика позитивизма, неопозитивизма и постпозитивизма), но эту сторону Щавелёвы обходят.

Некоторые мыслители этого круга использовали термин «археология» как метафору феноменологии, выделяя такие свойства археологии, как охоту за

истоками и реконструкцию. Отсюда Щавелёвы извлекают вывод об археологии как символе историзма, археологии как феноменологии истории. Здесь есть опасность присоединиться к лозунгу А. В. Арциховского «Археология — это история, вооруженная лопатой». О подвохах этого лозунга и ложных пониманиях историзма археологии я писал не раз (Клейн 1977; 1991; 1992, 1993а и др.).

Поветрие постмодернизма, отмечают авторы, обострило среди археологов ностальгию по стройности «единственно верной теории», и ее пытаются гальванизировать. Это еще один повод прищучить меня как теоретика. Я-де составил себе «среди зарубежных коллег репутацию археолога-марксиста» и теперь поэтому «вынужден называть свою теоретическую конструкцию “Диалектикой археологии”» (с. 117). Археологами-марксистами считали в советское время нас всех, поскольку все мы, особенно кто писал о теории, вынуждены были надевать на свои работы красные банты из соответствующих цитат и обязательных формулировок. Но я старался делать это по возможности уместно — мне и сейчас не приходится убирать эти цитаты из моих перепечатываемых работ. А марксистские методы я и сейчас применяю там, где они к месту. Что же до диалектики, то я говорю о «диалектике принципов археологии», и это вовсе не красный бантик — это суть дела. А еще я говорю о том, что, возможно мои взгляды можно было бы назвать «диалектической археологией», но такой ярлычок уже существует в марксистской археологии Запада, а мои взгляды всё же в целом вряд ли марксистские (я ведь основные устои марксизма отвергаю — см. хотя бы Клейн 1993б).

Теория для Щавелёва равнозначна схоластике. Он даже приводит по моему поводу цитату из протокола заседания кафедры, переданную ему кем-то из петербургских коллег (кем? насколько точно?), — что якобы М. И. Артамонов, мой научный руководитель, сказал обо мне: «Лев Самойлович всё больше увлекается схоластикой. Боюсь за него...» (I, с. 456). Артамонов умер летом 1972 г. Мои работы по теории только начинались с середины 1970-х гг., до того я писал только о катакомбной и трипольской культурах, о скифах и варягах. В 1970 г. вышла работа об археологической культуре и этносе, а этой темой и сам Артамонов увлекался. Не мог он ничего подобного сказать обо мне тогда. Да такие высказывания и не заносятся в протокол. Это просто археологический фольклор. Кто-то много позже посчитал, что я ударился в схоластику, а для пущей важности этот кто-то сослался на авторитет Артамонова.

Свою антипатию к теории и методологии Щавелёв не может удержать до того, что неоднократно (I, с. 102; II, 327, 456, 491), как только речь заходит о теории, повторяет понравившееся ему восклицание старого историка Б. А. Романова: «Заниматься методологией — то же, что доить козла». Этих козлов из-за повторов оказывается в книге целое стадо, хоть и небольшое. Кстати, Романов-то говорил это, прослушав курс философии истории. Так что стадо козлов Щавелёва зашло явно не в тот огород.

Он убежден, что Клейн «вряд ли случайно так и не выпустил второго обещанного тома своей “Теоретической археологии”» (II, с. 492). Где и кому я обещал его выпустить? Изначально было указано, что мне жизни не хватит, чтобы выпустить второй и третий тома, и я оставляю эту задачу своим преемникам, а сам ограничиваюсь «метаархеологией». Я не столь самонадеян, как это представляется Щавелёву, соразмеряю свои силы и возможности с реальной

ситуацией. Хотя многие части, способные послужить для последующих томов, я выпустил отдельными книгами.

Показывая свое презрение к этим бесполезным теоретикам (странное для философа), Щавелёв восклицает: «Покажите мне успешного археолога-поле-вика, отдельно от своих отчетов про раскопки рассуждающего об “археологических культурах”...». Пожалуйста. Вот Е. М. Колпаков — выпустил великолепный фундаментальный том о петроглифах Канозера, и тут же вторым изданием выходит его книга «Теория археологической классификации». Как раз о типах и культурах. Или взять Я. А. Шера, которого Щавелёв все время противопоставляет Формозову — «заумствования по части Я. А. Шера и иже с ним» (II, с. 491). Шер себя, как и Формозов, теоретиком не считает, но на деле действительно выпускает теоретические работы, не заумные, а очень умные. А его книги по петроглифам, по первобытному искусству на голову выше книг Формозова — добротных, но в основном описательных. Это ясно каждому специалисту.

По мысли Щавелёва, именно философия увенчивает синтез и связывает науку с остальной культурой. «А у теоретиков уровня Л. С. Клейна, Я. А. Шера и т. п. теория предлагается только для самих археологов, ограничивается их специфическим материалом. И отгораживает науку от культуры» (II, с. 492). Задам вопрос на манер профессора Преображенского: кто кого чем и от чего отгораживает? Нарушу еще раз столь милые Щавелёву заветы скромности (сам подбил) и сообщу, что моими теоретическими работами по археологии интересуются физики, биологи, антропологи, криминологи и даже философы (есть доказательства).

**«Еврей есть еврей».** Второй вопрос, который меня смущает во всей книге, это какое-то болезненное, опасливое (как бы не сочли антисемитом!) стремление отделить евреев от остальной русской научной интеллигенции, найти в них хоть какие-нибудь особые слабости, или хотя бы положительные качества, но особые, чуждые, неприятные истинно русскому человеку. Это не должно задеть еврейского националиста, а меня, происходящего из вполне ассимилированной семьи, задевает. Я, еврей по происхождению, считаю себя и всех столь же ассимилированных евреев частью русского народа — у нас родной язык русский, мы воспитаны в русской культуре, работаем в русском обществе и живем его интересами, гордимся его успехами и остро огорчаемся его недостатками, но живем и умираем в России. Некоторые из нас приняли православную веру (впрочем, христианство по происхождению еврейская вера), большинство (как и я) продолжают русскую атеистическую традицию. У нас несомненно масса недостатков, но примерно в той же пропорции, что и в остальной русской интеллигенции. Ан нет, говорит Щавелёв, есть особые — только ваши. И не старайтесь слиться, примазаться. Вы и мы — четко разделимы.

А я-то думал...

Я уже отмечал в своей рецензии на другую книгу Щавелёва (частями перепечатанную в этой — II, с. 299–305), что он напрасно рисует философский факультет как поле борьбы русских философов с группировкой евреев, которые тянули друг друга вверх и поддерживали своих аспирантов, вредя аспирантам противоположной группировки. Факультеты наши располагались в одном здании, я знал как тех, так и других. Я точно знаю, что одной группы названные им

философы-евреи не составляли. Более того, представление об исключительной корпоративности и взаимопомощи евреев — искусственное и ложное, хоть его и придерживался учитель Щавелёва Формозов. Так связаны архаичные, родовые общества, а евреи далеко ушли от родоплеменного быта. В них так же развита конкуренция и индивидуализация, как и среди русских. Клановость и семейственность — да, встречаются, но так же, как у русских.

К моим возражениям этого рода Щавелёв делает сноску: «Мой ответ см. ниже в рецензии на книгу Г. Л. Тульчинского» (с. 303). Смотрю. Мемуары философа Тульчинского Щавелёву полностью не нравятся и он предъясвляет мемуаристу заслуженные нарекания, некоторые — по поводу морали. Но где здесь о евреях? Тульчинский — еврей. Так что, все выявленные недостатки — из-за этого? Антисемит ответил бы утвердительно. Но Щавелёв в других своих статьях в этой же книге рассказывает о многих коллегах-евреях и своих учителях-евреях с большим уважением, даже с любовью — об их фронтовых подвигах, о замечательных книгах, о заслугах перед русским народом. Кто же является моделью для образа еврея — негодный Тульчинский или эти одобренные евреи? Или они до того хорошие, что даже непохожи на евреев?

Автор прямо связывает мерзкие черты Тульчинского с его еврейством: отмечая одну такую черту у «одного своего «знакомого коллеги, далеко не старого еще философа» (это Тульчинский), он добавляет: «конечно, еврея» (II, 436). А вот такой пассаж: «Наверное, мемуарист поэтому так не любит М. А. Булгакова — узнает свои родовые черты в Кальсонерах, Швондерах, Рокке, Берлиозе и т. п. типах» (II, с. 426). А что же мне делать, если я обожаю Булгакова — в ком мне узнавать свои родовые черты? Может быть, в своем единоплеменнике «прогрессоре» Иешуа?

Есть в критике Тульчинского и конкретные инвективы по еврейскому вопросу. Упомянуты двое коллег — Н. И. и Боря Фёдоров. Н. И. (Щавелёв раскрывает инициалы — Николай Иванов) почему-то зашифрован, а Боря Федоров нет. «Наверное, по национальному признаку. Первый не еврей, а второй еврей» (с. 427). Борю Фёдорову я знал хорошо: когда я был школьным учителем, он у меня учился в 9-м классе. Только я не знал, что он еврей — до самой его смерти, уже известным профессором. Вот сейчас начинаю подозревать. И Колю Иванова я знал. Причина разного отношения к обоим для меня ясна. Национальный вопрос тут не при чем. Коля Иванов был замешан в антисоветской деятельности, арестован, навывадал друзей, сидел, стал то ли священником, то ли монахом, и т. д. А Борис Фёдоров стал философом, научным руководителем Тульчинского — к нему отношение особое. И Щавелёву это должно быть ясно — что ж тут замешивать евреев/неевреев...

В другом месте (I, с. 440) упоминается, что тот же Тульчинский о русской религиозной философии отозвался иронически — и тут же сентенция: «Еврей есть еврей». А нет возможности, что он отозвался иронически не как еврей, а как атеист? Думаю, что он также отозвался бы о еврейской религиозной философии.

Есть и вовсе замечания дурного вкуса: среди опечаток подчеркнута одна, где выпала буква «р». «Ну, явно диктофон — раз “р” выпадает» (II, с. 429). Так ведь Тульчинский не картавый, а вот учитель Щавелёва А. А. Формозов, сугубо русский, как раз сильно картавил (я уж не говорю об Л. Н. Гумилёве).

Обобщения Щавелёв выдвигает при анализе очерка Формозова об А. В. Белинкове (II, 497–501). В этом гонимом и симпатичном ему литераторе Формозова слегка уязвляла его успешность по сравнению с ним самим: «пухлые книги» Белинкова о Тынянове и Олеше все же выходили в свет несмотря на опасные для советской власти едкие намеки, а «куда более невинные» очерки Формозова об охране памятников культуры застревали в цензуре. Формозов это объяснял взаимовыручкой евреев, помощью со всех сторон в еврейской же литературной среде. А, быть может, стоило бы подумать о том, не считались ли формозовские указания на лицемерие советских властей и печальную судьбу памятников культуры более опасными, чем белинковские литературные «намекы»? Никакая взаимовыручка евреев не преодолела бы и сотой доли цензурных препон, если бы встал вопрос о серьезной опасности партийному всевластию.

Рекомендуемая взаимовыручка евреев казалась Формозову замечательной, а отталкивало его еврейское обыкновение, по его мнению, смотреть на русскую культуру со стороны — как на низшую. Щавелёв это с энтузиазмом подхватывает. Да, смотря как на низшую, чужую. Значит, и мы вправе смотреть на них как на чужих. Подумаешь, ассимилировались! Недостаточно! Поклонитесь и поклянитесь еще раз! Анкор, еще анкор!

Итак, Щавелёв выделяет три главных претензии к российским евреям: 1) их взаимовыручка сплачивает их перед неорганизованными русскими, 2) их этническая заносчивость отчуждает их от русской культуры и среды, 3) их индивидуальная заносчивость делает их трудно выносимыми в быту перед скромными и застенчивыми русскими, чем русские известны всему миру.

Об иллюзии еврейской корпоративности и взаимовыручки я уже писал выше и в отдельном ответе Щавелёву (см. II, 303; Клейн 2011; 2013). Об этнической заносчивости же нужно сказать пару слов. В общем заносчивыми как правило становятся народы, долго бывшие в унижении и еще не избавившиеся от этого отношения соседей до конца. Но евреям вроде пора бы и отойти от этого ощущения: достигли многого, заметны в мире совершенно непропорционально количеству. Составляют одну тысячную человечества, а больше трети нобелевских лауреатов. Иудейская религия, преобразовавшись в христианство и повлияв на магометанство, охватила полмира. Марксизм, выдуманный евреем, также. Через две тысячи лет небытия восстановили свое государство на том же месте.

Но российские евреи не этим живут: их волнует своя, русская культура и их место в ней. Чуждые они ей или нет? Они часто критикуют ее недостатки, хотя, казалось бы, хвалите и поклоняйтесь — вас примут и наградят. Нет, им больно от ее неурядиц. А Щавелёву «и иже с ним» стоит подумать: русскую ли культуру те ругают или какие-то фракции в ней? Какие-то ее особенности? Обычно так: в любой критике готовы видеть оскорбление всей нации те национальные круги, которые сами в глубине души не очень верят в высокие достоинства своей нации, понимают ее отсталость и сомневаются в ее перспективах. Они стараются заглушить в себе эти сомнения криками о русофобии и нападками на ее мнимых недоброжелателей.

Остается индивидуальная заносчивость. Евреи, по Щавелёву, выпячивают свои достоинства, пусть даже и реальные, но, бывает, и мнимые, тогда как русским свойственны самоуничижение, прибеднение, скромность (II, с. 437).

У евреев-ученых излишняя серьезность, дефицит самоиронии, рефлексии. Доказать или опровергнуть эти впечатления очень трудно. На каждый пример можно привести контрпримеры. Вот Щавелёв пишет: «Мой учитель А. А. Формозов свои работы по десять, двадцать, тридцать печатных листов в твёрдых переплётах называл “книжками”, а то и “брошюрками”» (II, с. 22). Щавелёву претит, что я не следую этому назидательному примеру, считая это ханжеством, и называю свои книги «трудами» (II, с. 438). Ну, во-первых, не все, а только те, что насчитывают пятьдесят — сто печатных листов. Во-вторых, я уважаю не только чужой, но и свой труд, и этого не стесняюсь. Свои брошюры (как ту, что я написал совместно со Щавелёвым) я брошюрами и называю. А приведенную только что цитату о скромном Формозове в противовес задавакам я взял не из щавелёвской критики мемуаров Клейна, а из его критики мемуаров С. А. Бабушкина, вполне русского.

В мемуарах С. А. Бабушкина, действительно заслуживающих критики, Щавелёву не понравился упоминаемый там изобретатель Л. С. Термен, «очевидный еврей», но поданный в «Википедии» как родившийся в «дворянской православной семье с французскими корнями». Этому Щавелёв не верит и подвергает этого изобретателя язвительному осмеянию, используя для этого длиннейшую (более двух страниц!) цитату из «Сказки о тройке» Стругацких (II, с. 30–33). Между тем я не знаю, был ли Термен евреем (такая еврейская фамилия мне неизвестна), но он был действительно крупным изобретателем, участвовал в первых опытах телевидения; будучи зеком, за разработку в «туполевской шараге» подслушивающих устройств получил Сталинскую премию первой степени; родоначальник электронных музыкальных инструментов «терменвокс».

Наконец, отмечает Щавелёв у евреев и черту, объединяющую оба наших разногласия: «Евреи, как известно, вообще склонны к теоретизации» (II, с. 456). Вот теперь ясно, что неприязнь к теории подкрепляется настороженностью по отношению к евреям (или подкрепляет ее). Откуда это у в общем высокообразованного и высококультурного философа, которого обвинить в антисемитизме никак нельзя?

Мне кажется, здесь сказывается и провинциальное происхождение философа, и его философское образование в кругу, который им хорошо описан в автобиографических заметках, рассыпанных по этой и другим книгам Щавелёва. Он впитывал философию в кругу той самой группы, которую он описывал как противостоявшую якобы сплоченным евреям на философском факультете Ленинградского университета. Это были вернувшиеся с фронта рядовые и сержанты, воспринимавшие овладение марксистской философией как партийное задание. Им не хватало подготовленности, туго давались языки, но они как раз были сплочены и организованы. На факультете они воспринимали евреев — тоже вернувшихся с фронта, и (особенно) не бывших на фронте — как своих конкурентов. Это были обычно выходцы из интеллигентных семей, с хорошей подготовкой, языки им давались легко, книжные занятия вообще были их стихией. Были и русские такого же типа, но внешность позволяла легко выделить именно евреев. Подсознательное ощущение конкурентности этой группы, притом успешной конкурентности, порождало неприязнь, уже менее подсознательную, и подозрение в сплоченности, вредности и коварстве тех.



Мне кажется, это подсознательное ощущение конкурентности засело в уме Щавелёва с тех пор и не оставляет его. Укрепляют меня в этом предположении его сетования на «русскую болезнь» — алкоголизм в ученой среде. Чуть ли не все им описанные философы страдали этим увлечением, он сам этому подвержен (упоминает свои запои) и с некоторым злорадством приводит список моих пьющих русских учеников. Он отмечает «удивительную для меня лично (т. е. для Щавелёва. — Л. К.) подробность: мемуарист (сиречь я. — Л. К.) никогда не пользовался бытовыми транквилизаторами, то есть не пил и не курил» (II, с. 440). Увы, не могу истолковать в свою пользу это восхищение: это не был «триумф воли». Мне не пришлось прилагать к этому никаких усилий. Просто я не нуждаюсь в этом, всё это вызывает у меня органическое отвращение, а обезьянничать я не хотел. У евреев пьянство действительно менее распространено, чем в нееврейской среде, то ли по биологическим особенностям (южное происхождение этноса), то ли по семейным традициям. Есть и еще некоторые семейные традиции: чадолюбие (среди брошенных детей нет евреев), страсть к учебе, а повышенные способности к языкам и математике родились из особенностей выживания (поработал естественный отбор). Но в способностях человека, как известно, индивидуальный разброс сильно зашкаливает за границы этнической концентрации, а кроме того эти способности очень пластичны и быстро изменяются.

Поэтому в своей жизненной практике я, атеист, предпочитаю христианскую максиму: для меня несть ни эллина, ни иудея. И пусть Щавелёва не смущает мое выступление против его антиеврейских закидонов — я точно так же выступаю и с критикой еврейского сепаратизма (Клейн 2012).

**Империя и «патриотическая присяга».** Третье наше расхождение со Щавелёвым касается нашего отношения к государству как институции. Он возводит государство в число высших ценностей культуры, я же полагаю в любом обществе высшей ценностью человеческую жизнь и достоинство. Действительно его позиция более традиционно российская, моя — европейская или общемировая. Он государственник, я — сторонник гражданского общества. Он еще и имперец — считает высшим достижением народа построение великой империи, оплакивает ее почти полную утрату, готов ради нее, ее сохранения и возрождения жертвовать многим. А я считаю высшим достижением народа создание великой культуры, с великой наукой, искусством и литературой, с достижением достойного уровня жизни. Что же касается империи, то ее создание в свое время принесло народу много достижений — создало материальную базу для построения великой культуры. Но империя означала также непомерные тяготы для народа, ссору с соседями, необходимость содержать огромную армию, милитаризм, диктаторские режимы. Со временем всякая империя распадается — и слава богу. Народы, которые избавились от своих империй (Англия, Франция, Испания, Португалия, Голландия, Германия, Австрия, Италия, Турция), живут ныне лучше, чем они жили прежде.

Я считаю, что многие бедствия нынешнего развития России и слабость ее демократического движения заключаются как раз в том, что многие русские люди всё еще не избавились от синдрома имперского величия, хотя им лично от этого величия ничего не доставалось. Они всё еще тоскуют по былой империи, грезят об утраченных колониях, чувствуют фантомные боли. И их легко убедить

в желательности «сильной руки», в необходимости потерпеть еще немного для реванша, для возрождения империи, убедить в том, что окружены врагами.

Щавелёв относится критически к попыткам рассмотреть социальные истоки многих возвеличений: они хотят показать, что «историческим материалом камуфлируются де чаще всего имперские, шовинистические, тоталитарные доктрины и режимы» (II, с. 408). Здесь примечательна скептическая частица «де». Он даже решается отойти от позиции своего гуру А. А. Формозова. «Взгляд Формозова тут оставался либерально-интеллигентским... Не любя советской власти, отвергая и беспощадно осуждая ее культурный опыт, Формозов, что называется, впитал с молоком матери вполне революционные, а значит, и советские оценки дооктябрьской России. Самодержавие в его глазах оставалось безусловно реакционным институтом, и те самодержцы, что рьяно отстаивали имперские устои, получали в трудах Формозова однозначно отрицательные оценки» (I, с. 200).

Я здесь на стороне Формозова, хотя признаю за царями и ряд позитивных деяний (да и Формозов был не так уж однозначен).

Этому Щавелёв противопоставляет свою позицию: «Но сегодня стоит думать и ту часть исторической правды, которая была и остается на стороне консерваторов, так называемых реакционеров, более сочувственно именуемых теперь государственниками, “почвенниками”. Тех, кто самоотверженно, не щадя себя, помогал строить, защищать, модернизировать Российскую империю... Тех, кто служил верой и правдой тому строю, тому правительству, которыми наделила их судьба» (I, с. 201). Судьба, как мы знаем, наделяла многие народы совсем отвратительным строем и преступными правительствами. Так может, прежде чем служить верой и правдой, разобраться, кому служишь? «Часть исторической правды» очень часто означает искусную ложь. Помните обращение Наполеона к журналистам: «Пишите правду господу, только правду, но... не всю правду».

Все это рассуждение Щавелёва содержится в его рецензии на книгу московского археолога А. С. Смирнова «Власть и организация археологической науки в Российской империи». Смирнов тщательно воздерживается от политических оценок и увязок с современностью. Он рассмотрел, как в отношении к археологической науке сказывались задачи имперской администрации по внешней и внутренней политике. А понимать его материалы можно по-разному. Вот на Украине восхитились тому, как он «разоблачил» царскую политику по отношению к подавлению и русификации национальных окраин империи. Щавелёв же понял все наоборот: как Смирнов показал стоявшие перед Российской империей неизбежные задачи по освоению завоеванных окраин и изложил (достойное подражание) выполнение этих задач.

«Авторитарный, моментами даже диктаторский характер имперской власти в нашей стране яснее проявлял политический нерв гуманитарного познания, включая историко-археологическое. На быстрее и полнее демократизирующемся западе Европы академические объединения и прочие институты гражданского общества скорее могли себе позволить демонстративную аполитичность, практиковать космополитический подход к предметам своего изучения. В самодержавной России власти не могли обойтись без апелляции к далёкому прошлому, а его исследователи, кто добровольно, кто вынужденно, приносили патриотическую присягу» (I, с. 216).

Остается без рассмотрения, кому приносили и как понимали ее смысл. Автор ставит археологов в положение «Беркута» на Украине.

Очень характерен отзыв на диссертацию о творчестве Салтыкова-Щедрина (I, 131–127). Рецензент пеняет диссертанту за то, что тот «безоговорочно становится на сторону писателя, выступает в роли его адвоката. А надо было, образно говоря, примерить и мантию прокурора» (I, с. 134). По Щавелёву, в «истории города Глупова» писатель издевается над историей России, он создал пасквиль на нее, и это нестерпимо. Рецензент согласен с В. В. Розановым, ругавшим Салтыкова-Щедрина за клевету на Россию. Розанов писал: «После Гоголя, Некрасова и Щедрина совершенно не возможен никакой энтузиазм в России» (I, с. 136). Имеется в виду энтузиазм административно-государственный. Ну, конечно, как еще может воспринимать «Историю города Глупова» и другие классические сатиры патриот-государственник?

При чтении этих консервативно-охранительных филиппик вспоминается старая эпиграмма Ю. Н. Благова: «...нам нужны / подобрае Щедрины / и такие Гоголи, / чтобы нас не трогали».

**Нападки на мои мемуары.** Расхождения со Щавелёвым ощущаются и в его рецензии на мои мемуары. В общем она написана в чрезвычайно хвалебном, лестном для меня тоне. Я и «прогрессор», и железный человек, и выдающийся ученый и т. д. Казалось бы, уместным может быть только скромное (а может быть, и жеманное) ограничение похвал: ах что вы, да куда уж мне... Но эти похвалы сопровождаются таким количеством вежливых, но негативных примечаний и «шпилек», что ощущение «юбилейности» (книга же к 85-летию) не возникает. Напротив, чувствуется необходимость возразить, потому что все эти критические примечания и «шпильки» несправедливы.

Почему они так щедро рассыпаны по рецензии — сразу и не скажешь. То ли потому, что автор видит во мне прежде всего теоретика-еврея — объект для него в общем вдвойне одиозный. То ли для того, «чтобы и мой отзыв не казался панегирическим» (II, с. 451 — не бойтесь, Сергей Палыч, не покажется!). Не это важно. Важно, что эти выпады неверны.

Прежде всего, рецензент усиленно создает впечатление, что мои мемуары насковозь необъективны, пристрастны, лживы, мемуарист приукрашивает, приукрашивает и т. п. Ну, всякие мемуары в известной мере субъективны, отражают видение мемуариста, его память. И мои мемуары не могут быть исключением — я об этом и сам писал в них (Клейн 2010: 170–171, 603–612). Но одно дело иметь свой взгляд, может быть, и недостаточно широкий, а другое — намеренно привирать, сочинять, лгать. Кроме того, для таких обвинений должны быть достаточные основания, а не одно лишь желание принизить слишком высоко вознесшегося — так сказать, сбить спесь.

Именно для того, чтобы избежать субъективности, я непрерывно перемежал свои воспоминания документами, отзывами, письмами, обширными цитатами и т. д. Рецензент недоволен: «Ведь все эти “документы и материалы” отобраны и прокомментированы исключительно самим мемуаристом» (II, с. 436). А кем они должны быть отобраны и прокомментированы в *моей* книге? Я какие-то важные пропустил? Исказил? Сфальсифицировал? Неверно прокомментировал? Так укажите!

Кроме документов в мемуарах обильно цитируются мои интервью с нашими и иностранными коллегами и журналистами. То есть, помещены диалоги. Строгий рецензент и этим недоволен. «Настоящий диалог был бы возможен, если бы усадить за “круглый стол” соучастников событий. Ну, хотя бы А. А. Формозова, И. С. Каменецкого, А. Д. Столяра, кого-то еще — и пусть они со Львом Самуиловичем под диктофон поговорят...». А моей откровенной и документальной переписки с этими лицами для вас недостаточно? Непременно «под диктофон»!

На мои мемуары вышло более 20 рецензий, в основном положительных. «А десять, двадцать лет назад эта книга наверняка вызвала бы шквал дополнений, поправок, опровержений» (II, с. 437). Откуда у рецензента такая уверенность? Важнейшие мои современники еще живы, у других живы дети и ученики. У моих острейших оппонентов я успел взять разрешение на цитирование писем. Есть разгневанные читатели (герои моих мемуаров), но они ничего не написали, потому что написать нечего. Самые резкие мои оценки были высказаны о С. И. Капошиной. Недавно на одном заседании ко мне подошел незнакомый мне человек и попросил поставить автограф на книге моих мемуаров. Я спросил: а кому надписать? Он представился: я племянник Серафимы Ивановны. «А ведь я в мемуарах отзываюсь о вашей тетушке не очень лестно» — удивился я. «Что поделаться, такой она и была», — отвечал он.

Перелагая мои показания, рецензент все время употребляет словечки «будто бы», «якобы». Название книги «родилось якобы случайно», «кто-то из московских коллег будто бы зло пошутил»... (II, с. 438). Дескать, байкам Клейна верить нельзя. Между тем я в мемуарах (Клейн 2010: 612) рассказываю подробно, кто, когда и где, и ссылаюсь на письмо вашего гуру Формозова. Письмо сохранилось и цитируется.

Не пропустил рецензент возможности прицепиться к моему мимолетному конфликту с Я. А. Шером. Наш общий приятель (ныне покойный), будучи лишен работы, попросил меня помочь ему опубликовать свою теоретическую статью. Посмотрев ее, я убедился, что статья чрезвычайно слабая (приятель в теории не был искушен), и посоветовал ему не позориться. Тот обиделся и, рассказывая этот эпизод Шеру, пожаловался, что я отверг статью из-за того, что там не было ссылок на мои работы. Шер в своих воспоминаниях так и напечатал. Я предстал перед читателем черствым, мелочным и тщеславным. В свою очередь я обиделся и посетовал Шеру, что он, зная меня хорошо как чуждого таким мотивам, тиснул эту байку в своих воспоминаниях — мог бы справиться с оригинальным текстом: там есть ссылка на меня! Шер извинился и инцидент был исчерпан.

Щавелёв делает вид, что неясно, «кто там прав, кто виноват». «Шер взял да и согласился с отповедью Клейна. Но согласился устно, а не печатно» (II, с. 450). Ошибаетесь. Согласился устно и печатно. Как теперь вы отреагируете на отповедь Клейна?

«Уличает» меня в «приукрашивании» рецензент, и говоря о моих лагерных воспоминаниях. «Какие-то моменты личных поражений, унижений наверняка вольно или невольно забыты, опущены, смягчены мемуаристом». Ну почему же? Я ведь рассказываю в других местах о своем запоздалом признании радиоуглерода и неверных хронологических определениях, об ошибочном

отождествлении фатьяновской культуры с тохарами, о промахах при обыске и на следствии и т. п. «Будучи родом из Магадана», рецензент пишет: «Я сомневаюсь, в частности, в том, что Лев Самуилович был в таком уж авторитете на зоне, как он расписывает» (II, с. 443). Ну, раскиньте мозгами, Сергей Палыч, из лагеря каждую неделю выходили на волю очередные зеки, за семь лет от моего освобождения до появления моих очерков должно было накопиться на воле не менее тысячи выпущенных. Как же я мог бы гласно привирать в журнале с тогда полумиллионным тиражом о своем статусе на зоне! К этому криминальный мир относится очень серьезно — пришлось бы «отвечать за базар». А мне освободившиеся зеки писали письма (некоторые опубликованы в последнем издании «Перевернутого мира»), благодарили за помощь в лагере.

Щавелёв почему-то считает, что я присвоил себе из тщеславия титул профессора, хотя на деле, мол, являюсь только доцентом. Мол, использовал то, что на западе бывал в роли «визитирующего профессора» (такое там обозначение приглашенных лекторов), вот и стал именовать себя «профессором». Обо мне и Формозове рецензент пишет: «Ни тот, ни другой профессорами не были формально-юридически. Ведь в отечественных университетах, имея на то профессорские, а не доцентские полномочия, они лекций не читали. Клейн — правильный советский доцент» (II, 446). Но главное, мол, «не в этих сомнительных титулах». — Главное, конечно, не в них, но титулов я себе не присваивал. Профессор я и «формально-юридически», после защиты докторской степени, не только работал в профессорской должности (читал курсы лекций), но и был представлен Университетом к профессорскому званию, получил его, утвержден ВАКом. Показать корочки?

С этим упреком Щавелёв обратился ко мне, обидевшись за Формозова. Дело в том, что на критическую рецензию Формозова я поместил в очередном издании своей книги «Ответ профессора сыну профессора». «Напрасно так назвал свой ответ, позлился» (II, с. 446). Щавелёв считает, что я рассердился за критику. Да нет, принял рецензию с удовольствием, везде в переводах своей книги прилагал к ней и перевод рецензии Формозова, распространял ее. А щелкнул приятеля по носу за снобизм: противопоставление себя как рожденного в столице профессорского сына, исконно и по праву причастного к русской культуре, провинциалу «из многонационального Витебска», как он это подчеркивал. Этот снобизм вскоре сыграл с ним плохую шутку, во многом восстановив против него археологическую среду. Кроме того, я считаю, что он не стал защищать докторскую не из-за препон со стороны Рыбакова, а потому что, не владея языками (по лености) боялся выходить на защиту, да и не хотел возиться. А мог бы защититься и в Ленинграде, где у него была гладкая дорожка. Я рассчитывал, что мое поддразнивание послужит стимулом к защите. Не послужило.

Совершенно безосновательно сомневается Щавелёв и в аккуратности того, как я излагаю свой уход с философского факультета. Прочтя, он записал: «Я прекрасно понимаю, как подвёл Лев Самуилович своих доброжелателей с этого факультета. Они взяли его, что называется с улицы, безработного с непогашенной судимостью, а он возьми да укажи с гастрольными лекциями за рубеж, оставив вместо себя вести занятия по культурной антропологии какого-то паренька с исторического факультета» (II, с. 445). Здесь что ни деталь, то

выдумка. Не «с улицы», а декан философского Юрий Солонин (ныне сенатор) пришел ко мне домой приглашать меня на факультет. Не «безработного», а после объезда университетов Европы, чтения лекций в Оксфорде и Кембридже, Дареме и Копенгагене, Стокгольме и Вене. И после защиты докторской. Не «с непогашенной судимостью», а после государственной отмены самого повода для судимости. «Возьми да укажи» — продолжение преподавания в Вене было оговорено при поступлении, проверьте у Солонина. А оставленный мной «какой-то паренек» В. Жуков остался преподавать на факультете на долгие годы — стало быть, не какой-то. И завершается этот пассаж обо мне так: «будучи уволенным, я думаю, за прогулы». Что ж тут «думать»? Посмотрите приказ об увольнении с благодарностью. Стало быть, не «я думаю», а «я выдумываю».

Почему-то очень раздражает рецензента наличие у меня выдающихся учителей и известных учеников (II, с. 452–455; Клейн 2011). Он не может мне простить указание на то, что В. Я. Пропп был моим учителем, хотя это был мой первый научный руководитель на филологическом факультете, я слушал его лекции, писал у него курсовую работу, получил пространный отзыв-наставление, потом не раз встречался с ним, его влияние отражено во многих моих работах. А Щавелёв считает примерным пропповским учеником курского фольклориста Юдина, который, несмотря на теплое отношение Проппа, очень далеко отошел от пропповских принципов. Мне Щавелёв предписывает оставаться только учеником М. И. Артамонова. Верно, и археолог Артамонов был моим учителем, но Артамонов скорее поддерживал своих учеников, чем обучал. Я больше учился на его печатных работах, чем от его руководства.

Забавно, что сам Щавелёв считает себя «учеником Формозова», не раз пишет об этом, хотя Формозов не преподавал, а Щавелёв никогда не слушал его лекций и не работал под его научным руководством, а лишь приходил к нему в гости уже абсолютно взрослым человеком.

Из моих учеников Щавелёв выделяет покойного Марка Щукина, который у меня был со второго курса в экспедиции, не раз отмечал мое влияние, но официально его научным руководителем я тогда по чину не мог быть. Надписи на книгах «дорогому учителю» и т. п., которые Щукин дарил мне, рецензент объясняет соблюдением этикета. Вот еще одна, мне ее недавно принес ученик Щукина на оттиске первой крупной статьи Марка (за 1967 г.): «Л. С. Клейну, учителю, вождю мой первый блин». Этикет? Опираясь на то, что Марк в числе своих научных руководителей меня не указал, Щавелёв «ловит» меня на том, что из тщеславия я присвоил себе ученика, когда тот стал знаменитым. «Просто Щукин как ученый проявился стократ более содержательно, чем многие другие его однокашники, почему и стал столь желанен в учениках тем, кто в них особенно нуждается» (II, с. 454). Но сохранился номер газеты «Ленинградский университет» (№16/1089/ за 11 мая 1959 г., с. 3), в котором я писал о своих тогдашних студентах: «Не нужно быть пророком, чтобы предсказать, что через десять лет нынешний первокурсник Глеб Лебедев и третьекурсник Марк Щукин будут известны своими научными работами. Если я ошибусь, прошу предъявить мне через десять лет этот номер газеты как неоплаченный вексель». Вексель не был предъявлен и по прошествии полувека.

А сейчас мне предъявляется другая бумага: обвинение в тщеславии и лжеучительстве, не обеспеченное ничем.

Есть у рецензента претензии и к моему отношению к учителям и старшим коллегам. По его мнению, троих (М. И. Артамонова, Б. Б. Пиотровского, А. Д. Столяра) Клейн «в основном чернит». Это абсолютная неправда. Вот Столяр в своих мемуарах не сказал обо мне ни одного доброго слова, а я о нем вспоминал с теплым чувством — он для меня вначале был образцом и примером. И только опровергая его выдумки обо мне, я вынужден был привести и некоторые его неприглядные качества. А что я считал его заведование кафедрой плохим, я ему в глаза говорил. Об Артамонове я также писал много с большим восхищением, как в мемуарах, так и в других своих работах, собрал сборник в его честь, наши нелады тоже излагал, но при этом не чернил его. Единственный скверный поступок, который я не считал возможным скрыть, это плагиат. Это вопрос принципиальный, и тут не о чем спорить. Пиотровского я старался обрисовать объективно, со всеми его положительными и отрицательными чертами. Если такой реалистичный портрет показался Щавелёву чернухой, то разве что по контрасту с апологетическими жизнеописаниями.

Щавелёву хочется думать, что я кому-то из них «обязан всем в науке и университетской жизни», что другой (известно кто) ко мне хорошо относился, «когда это не мешало его природной осторожности», третий терпел меня (II, с. 450). Не сам, всё благодаря помощи — то ли каких-то евреев, то ли этих руководителей. И остальным я досаждал одним своим наличием. «А ведь до поры до времени терпели... Это уже помощь» (II, с. 434). «Озверись» кто-то из них раньше времени... (II, с. 431). А ведь не озверились. Ну, спасибо! Кстати и озверялись.

Помощь тех, кто реально помогал, я всегда отмечаю. Но эти люди не устраивают рецензента. Ему хотелось бы, чтобы была отмечена помощь от могучих покровителей, всеобъемлющая, решающая, от тех, без кого «в науке и высшей школе не было бы никакого Клейна» (II, с. 451). Не могу доставить рецензенту этого удовольствия. Сам. Все существенное делал сам. И никому не посоветую надеяться на доброго дядю. Хотя, конечно, никогда не отказывался от помощи и всегда за нее благодарил.

**Итог.** Отмечу также некоторые «ляпы» в тексте книги и, особенно, рецензии. Слово «идиографическая» в приложении к науке везде в книге (даже в перепечатке моей статьи) написано через «е» («идео-»), хотя оно в родстве не с «иде-ей», а со словом «идиом». Газета ученых «Троицкий вариант» везде обозначена как «сетевая», «электронная», хотя это обычное бумажное издание, обладающее своим сайтом. Брат мой назван старшим, хотя он младший. Отец мой назван Соломоном, хотя я Самуилович. Еврейским именам-отчествам Щавелёв вообще уделяет много внимания. Поэтому поясню. У отца от рождения было по европейскому обычаю (он рожден в Варшаве) несколько имен, в том числе Станислав и Самуил. Дома и на работе его звали по первому имени, и я был записан как Станиславович. Но когда получал паспорт, из чувства протеста против чернения евреев переписал отчество на Самуилович. Щавелёв одобряет то, что я сохранил отчество Самуилович — не переписался в Семеновичи или как-нибудь похоже (II, с. 434–435). Я не сохранил отчество Самуилович, а, наоборот, *выбрал* его. Чтобы в происхождении моем не было сомнений.

Остается подвести итог. Разбор рецензии на мои мемуары побуждает меня относиться недоверчиво ко всем другим рецензиям Щавелёва. Если у меня,

кого Щавелёв искренне уважает и с которым охотно сотрудничает, в моих текстах, основу которых я хорошо знаю, он искусственно создает массу некрасивых и позорящих деталей, то как я могу вполне верить его критическим рецензиям на других людей, которых я знаю хуже и издалека?

Щавелёв знает, что я ссорился иногда и с его идеалом — Формозовым. Но он замалчивает, по какому поводу была наша наиболее длительная ссора. Я не поддержал выступление Формозова против украинских и американских археологов — те стали раскапывать памятник на территории Украины, который копал и оставил Формозов за 40 лет до них. Он считал, что они должны испросить его разрешения. Я же считал и считаю, что раскопки части памятника не дают археологу вечное право собственности на весь затронутый раскопками памятник. Авторское право охватывает то, что он раскопал, а на продолжение раскопок сохраняется его приоритет некое разумное время (практически было принято десять лет). Формозова тогда не поддержал никто. И в дальнейшем при общей справедливости и смелости его этических позиций в науке он не раз пренебрегал доказательствами вины или невиновности конкретного человека, что и вызвало против него шквал разоблачительных антирецензий. Не вполне придерживаясь общих этических позиций Формозова, Щавелёв, похоже, вполне придерживается его манеры напрасно обижать конкретных людей. Просто так, чтобы сделать свои эссе колоритнее и читабельнее.

Так ведь не все стерпят. И можно было предвидеть, что я — не стерплю.

## Литература

- Клейн Л. С.* 1977. Предмет археологии // *Археология Южной Сибири* 9, 3–14.
- Клейн Л. С.* 1991. Рассечь кентавра. О соотношении археологии с историей в советской традиции // *ВИЕТ* 4, 3–12.
- Клейн Л. С.* 1992. Методологическая природа археологии // *РА* 4, 86–96.
- Клейн Л. С.* 1993а. Историзм в археологии // *АВ* 2, 135–144.
- Клейн Л. С.* 1993б. Феномен советской археологии. Санкт-Петербург: Фарн.
- Клейн Л. С.* 2011. На пороге науки // *Троицкий вариант* 2 (71), 1 февр., 10.
- Клейн Л. С.* 2012. Четырнадцать евреев? // *Троицкий вариант*, 20 (114), 9 окт., 12–13.
- Клейн Л. С.* 2013а. Ученый, учитель, ученик // *SP* 4, 361–364.
- Клейн Л. С.* 2013б. Этика и психология на пороге науки // *Философия и эпистемология науки* 4, 241–245.
- Klejn L. S.* 1990. Theoretical archaeology in the making: a survey of books published in the West in 1974–1979 // *FA* VII, 3–15.